



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВ  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК (№ 2)

# МУЗЕЙ И ГОРОД



АО «Арсис»

Санкт-Петербург  
1993

# КАНЦЕЛЯРИУС ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛА

ЕЛЕНА ОБАТНИНА

«Назвали меня Алексеем, именем Алексея Божия человека — странника римского. И вот нечаянно и негаданно судьба дала мне в руки посох, и в ранней молодости странствие выпало мне на долю», — писал в начале 20-х годов Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957), в который раз убеждаясь в роковой закономерности своей жизни и снова приготавливаясь мириться с временными прибежищами чужих городов, по которым лежал его путь: из «взвихренной» России, через Германию (1921—1923) — в Париж (1923—1957).

Его вечным уделом было начинать все с начала. Дороги странствий никогда не возвращали Ремизова «домой», не поворачивали обратно в родные пределы. Так повелось со времен революционных ссылок юности, когда ему был запрещен въезд в столичные города, — и привычная бездомность стала знаком судьбы, сопутствовавшим даже в Петербурге, где писатель, москвич по рождению, хотя и провел без малого шестнадцать лет, но был обречен на кочевье, постоянно меняя непрочный уют своих адресов.

Эта жизнь, действительно, походила бы на изнурительное скитание, сопровождавшееся неустроенностью и извечной бесприютностью, если бы не спасительный дар памяти, проникающий сквозь преграды времени и пространства и приносящий радость возвращения и узнавания былого. Память пронизывает все творчество Алексея Ремизова, автобиографичное по своей природе. Его воспоминания были подчас ярче и жизненнее самой действительности. Поэтому для него воссоздание первых мгновений своего «пробуждения» в этом мире или, более того, путешествия к истокам своей судьбы, к памяти своего «человеческого духа» — такая же реальность, как и мысленный возврат к конкретным событиям петербургских лет. Такая память сохраняет то истинное и сокровенное, что помогает обретению ценностей жизни, из которых, по Ремизову, и складывается подлинная биография и история вообще. Памяти такого рода, запечатленной в книгах, автографах, портретах, рисунках и документах, была посвящена выставка «Волшебный мир Алексея Ремизова», открытая к 115-й годовщине со дня рождения писателя в Комендантском доме Петропавловской крепости (ноябрь — декабрь 1992 года)<sup>1</sup>. С ней имя Ремизова вернулось в город, к которому все годы эмиграции устремлялись его мысли и воспоминания.

С Петербургом для писателя были связаны не только отчаяние, и глубокие переживания, и

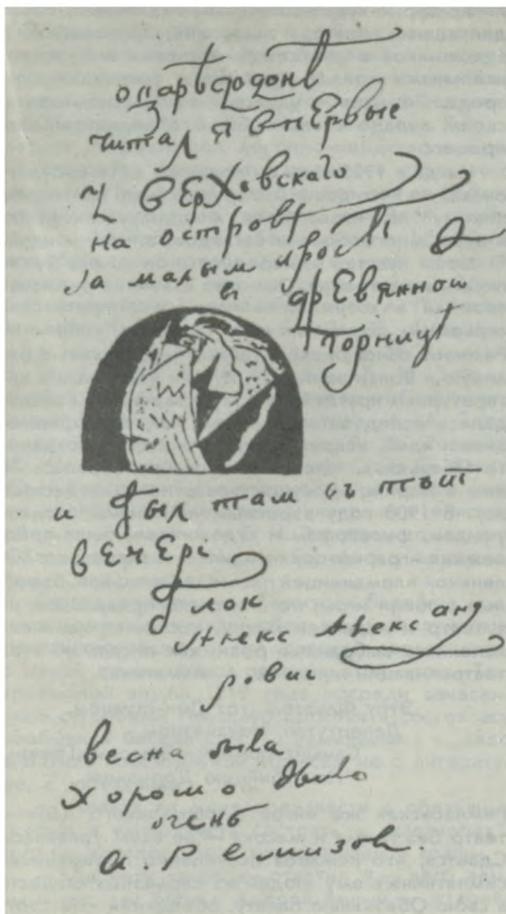
болезни, но и бурный расцвет всего многообразия его дарований. Оттого каждая книга, написанная здесь, вызывала в его памяти обстоятельства и сюжеты реальной петербургской жизни, равно как и произведения, изданные в первые годы эмиграции, были возвращением в Петербург, напитаны его воздухом. «...Здесь только печатать», — подписал свою берлинскую книгу Ремизов. Не случайно дарственные надписи на ремизовских книгах, в особенности жене, Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло, — мужественной спутнице на всех дорогах их общей судьбы, образуют своеобразный «мемориальный» жанр. Эти инскрипты редко лапидарны, так как их цель — запечатлеть с пронзительностью сиюминутного переживания, с тем же теплом, благодарностью или горечью то уходящее в прошлое, на что отозвалась душа. Недаром такие воспоминания писателя носили имена, созвучные названиям улиц, на которых приходилось жить: «память Казачьего переулка», «память Таврической». Подобные автографы открывают живую биографию петербургской судьбы Ремизова. Вот некоторые из них.

«А этот Петушок — память о революции 1905 года... тут, деточка, много из нашего записано жить-быть, и икона, и клубки веревки, и комод, который надо умеючи отворять, — это жизнь наша на Рождественской и Кавалергардской». (На книге «Петушок». Берлин, 1922).

«Д[олжно] б[ыть], больше такого же не напишу по напряжению, по огорчению против мира, теперь спокойнее подхожу по всему и сужу сверху, а не изнутри. И как странно, все-то тогда собиралось ко мне: появилась Акумовна, болезнь пришла — чтобы все выразить. Это память, деточка, очень больная. Но в прошлом. Я все принял и как-то понял и благословил». (На книге «Крестовые сестры», переизданной в Берлине, 1922).

«Страшно глядеть теперь на эту книгу в особенности тут, в Германии. Но все написанное вышло без «подладу», по искреннему чувству и от тревоги и от такой взбити чувств, как в первый год войны. Чувство конца, вот это чувство. Тебе это, деточка, на сохранение в древнехранилище нашем, однажды разоренном и теперь вот вновь строящемся. 6.6.23. Berlin». (На книге «За святую Русь: Думы о родной земле». Петроград, 1915).

<sup>1</sup> См.: Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб.: Хронограф., 1992.



Дарственная надпись Ю. Н. Верховскому на авантитуле книги А. Ремизова «Заветные сказки»

«А это, деточка, тебе Крашенные рыла. С ней связана вся, вся моя страда театральная, все тяжайшие годы 1917—1921 — жгучая память и ответ, как человек над человеком мудровать может, и опять ничего здешнего, только печать, вся — в России». (На книге «Крашенные рыла. Театр и книга». Берлин, 1922).

Петербург так прочно вошел в память писателя, что пейзажи города стали в его сознании неизменным ландшафтом воспоминаний. Это город-мираж, то растворявшийся в глубинах прошлого, то надвигавшийся снова, заслоняя собой реальность эмигрантской жизни. Так, петербургская фата-моргана однажды забрезжила на парижской улице Буало — последнем пристанище Ремизова: «Да это вовсе не улица Буало, посмотрите, откуда такой желтый туман? Где-то на втором дворе не то Гороховая, не то Фонтанка у Обухова моста — места памятные по Достоевскому, а мне особенно по „Крестовым сестрам“».

Бережно хранилось у Ремизовых все, что воскрешало петербургские годы и встречи: «Оже-

релье, которое берегли, не родовое, а свое — цепь из пасхальных яичек, тридцать и три года низалось: — вся петербургская литература: Блок, Белый, Сологуб, Вяч. Иванов, Гумилев, Кузмин и Мир Искусства: Сомов, Кустодиев, Чехонин, Добужинский — христосовались, и оставалась пасхальная память. На Пасху и до Троицы носила С. П. это, с каждым годом удлинявшееся ожерелье, всем показывала, называя имена, сама радовалась, и все любовались — в Петербурге, в Берлине, в Париже».

Память Ремизова сродни сновидению, в котором нарушается логическая последовательность и действие прошлого достигает реальности настоящего времени. Более того, возникает парадокс, при котором прошлое, преобразуясь в настоящее, не застывает в своих формах, а получает развитие, позволяющее не только вспоминать нечто конкретное, но и продолжать свободный разговор с людьми из минувшего, обращаясь к ним как к реальным собеседникам. Такие чудесные встречи были возможны с самыми близкими, память о которых — откровение души, ее боль и радость. И только чувство тоски по многим, с кем свела судьба в Петербурге, прорывает границы человеческого бытия и позволяет Ремизову обратиться к древней традиции «диалогов в царстве мертвых». Так, путешествуя в вечности, он вновь обретал встречи с теми, с кем не могли разлучить ни расстояния, ни смерть: с Л. И. Шестовым (ум. в 1938), В. В. Розановым (ум. в 1919), А. А. Блоком (ум. в 1921).

А. Ремизов. Рисунок из альбома «Именинный графический полупривник Тырло. 550 снов. 22.XII.1933—8.XI.1937». Сон с 19 на 20 января 1934 года. РО ИРЛИ





Дарственная надпись и рисунок П. Е. Щеголеву на книге А. Ремизова «Посолонь»

«Лев Исаакович, ты «понимаешь» (...) Ты на путях своего духа в этот миг говорил с Сократом. Я провожал тебя до предела (...) А эту горстку земли я бросаю тебе в могилу».

«— Скажите, Василий Васильевич, который теперь час у вас там в вечности?»

— Вечер?

— Нет еще?»

«А Вы, Александр Александрович, вспоминаете Россию?»

Часто за эти годы, посмертные, снился мне Блок. А что, как не сон, единственная у нас живых связь с миром? По желанию только в «Тысяча и одной ночи» сны снятся; сны не прошены, но званы, они сами приходят.

Вы приходите ко мне по серебряным нитям так же легко и воздушно, как силфы с трепетом, голубое с детской улыбкой. Конечно, вы вспоминаете Россию и не раз и никогда ее не забудете — через меня вспоминаете там...»

Был Ремизов странником, обделенным радостью возвращения и восполнявшим эту печаль по «дому» умением вспоминать, оживляя давно прошедшее. Необыкновенно подробной была его память на случаи, разговоры и сюжеты, из которых он мог бы составить целую энциклопедию петербургской литературной жизни. Петербург «серебряного века» был наводнен различными обществами, собраниями, кружками,

литературно-художественными салонами, объединявшими поэтов, писателей, философов и художников в соответствии с теми жизнестроительными идеалами, которые возникали в их среде. Ремизов с удовольствием вспоминал о своем вкладе в этот общий объединительный процесс.

Когда в 1905 году он появился в Петербурге, оказалось, что довольно трудно было прижиться никому не известному молодому писателю в этом многообразии взглядов, стилей и идей. О своем чувстве чужеродности он не раз будет писать в эмиграции. Помогло известное ремизовское «а я хотел по-своему», и в противовес серьезным обществам и философским собраниям Ремизов основал свое, тайное — Обезьянью Великую и Вольную палату. И если известные в литературных кругах общества со временем распались вслед за крушением или трансформациями идей, вокруг которых они были созданы, то Обезьянья палата Ремизова перебралась за ним в Париж, просуществовав не один десяток лет. В 1908 году взрослым почтенным людям, ученым, философам и художникам, была предложена игра, которая родилась в общении с маленькой племянницей писателя Ляляшкой. Взрослые любили игры, но они легко превращали их в театр и надевали маски, костюмы, начинали исполнять выбранные роли, как писала об этой театризации жизни А. А. Ахматова:

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,  
Дапертутто, Иоканааном,  
Самый скромный — северным Гланом  
Иль убийцею Дорианом...

Ремизовская же «игра в обезьяньего царя» — театр без грима и масок — не всем удавалась. Сдается, что Ремизов постепенно переманивал симпатичных ему людей из серьезных обществ в свою Обезьянью палату, объединяя их в соответствии с вечными идеалами дружбы и творческого осмысления действительности. В этот орден принимались все, кто был способен творчески преобразить скованную нормами и общепринятыми правилами жизнь; все, кто легко обращался в детей, искренних, непосредственных, не знающих равнодушия, чуждых мертвому аскетизму и теоретизированию. Недаром Ремизов навсегда запомнил детскую улыбку А. Блока, в отличие от других мемуаристов, запечатлевших в своих воспоминаниях человека с головой Аполлона, неподвижное лицо поэта, похожее более на греческое изваяние. Так же дорога ему была и неподдельная реакция философа В. В. Розанова: «...когда я сказал В. В. Розанову, что он награждается обезьяньим знаком и возводится в старейшине кавалеры обезвельволпала, Розанов сразу ничего не понял, ошеломился, а потом спросил: „А кто еще старейший там у тебя в палатке?“ В. В. сказал не в „палате“, а в „палатке“, как говорила и Ляляшка.

— Гершензон старейший, Шестов...»

Были у этой игры и свои правила: «Полная свобода и никакие обязательства (анархия) и... „адское“ (обезьянье) противоплагается изоглавшемуся человеческому с его прописной моралью, лицемерием, лавочной религией». Эти

принципы вошли в конституцию и манифест Обезвельволпала. Руководство обществом осуществлял таинственный царь обезьяний Асыка, которого никому и никогда не посчастливилось увидеть, за исключением скромного канцеляриуса Обезвельволпала — Алексея Ремизова. Канцеляриус исправно вел делопроизводство палаты на глаголице (предмет изучения и страстного увлечения писателя) и изготавлял для ее членов искусные наградные грамоты, свидетельствующие о многообразии табели о рангах обезьяньего общества. Как вспоминал Ремизов, «Невский кишел тайными и явными обезьянами». Здесь были старейшие князья обезьяньи: А. П. Зонов, Ф. Ф. Комиссаржевский, П. Е. Щеголев, А. М. Горький, М. М. Пришвин, Е. И. Замятин, А. Н. Толстой, З. И. Гржебин, Б. К. Зайцев, М. А. Кузмин и другие. Кавалерами обезьяньего знака считались: А. А. Ахматова, А. А. Блок, Андрей Белый, А. Ф. Кони, В. В. Розанов, Ю. П. Анненков, Л. И. Шестов, Л. С. Бакст, Ю. Н. Верховский. Некоторые члены палаты имели индивидуальные звания, например епископ обезьяний Замутый — Е. И. Замятин, комедиант Обезвельволпала — Н. Н. Евреинов, оруженосец — И. Одоевцева.

Благодарная память Ремизова бережно хранила моменты из жизни обезьяньей палаты, свидетельствовавшие о той детской серьезности, с какой принимались правила этой игры. Так, тревожной зимой 1919 года посреди занесенного сугробами Невского проспекта состоялась необычная беседа с Н. С. Гумилевым: «...дело его было просительное и совсем не о литературе, а „обезьянье“».

— Нельзя ли меня произвести в обезьяньи графы: я имею честь состоять в „кавалерах“, мне бы хотелось быть возведенным в графы.

— Да нету такого, — ответил я, — чего вам, вы и так, как Блок и Андрей Белый, — „старейшие кавалеры“ и имеете право на обезьянью службу.

— Нет, я хочу быть обезьяньим графом.

„А и в самом деле, — подумал я, — графов не полагается, но если заводить, то только одного, и таким может быть только Гумилев“.

— Моя должность, Николай Степанович, как Вам известно, маленькая, — сказал я полуртом, боясь ветра, — я, как „бывший канцелярист обезвельволпала“, спрошу.

— Очень вам буду благодарен».

Обращаясь к памяти не только в мемуарах, но и в своих повестях, романах, сказках, работая над переложением древних легенд, Ремизов отыскивал в прошлом своей жизни и мировой культуры напоминание глубоко личного, знакомого, родственного его душе. В этом ему всегда помогало рисование. Красочные рисованные грамоты членов Обезвельволпала — это не только материализованная память об уникальном явлении жизнетворчества, но и увековеченная Ремизовым его память о восприятии другой личности, другого дарования, иной души. Грамоты не имели повторений, они так же были не похожи, как и их владельцы. Образы конкретных лиц претерпевали в воображении Ремизова чудесные превращения из реальных людей в мифологические

существа и отмечались индивидуальными чертами, отличительными знаками: «с кунными лапками», «с лягушачьим глазом рогаго мышья», «с лисьим хвостом», что роднило их с образами картин Иеронима Босха, вопреки сложившемуся стереотипу впечатления никогда не казавшимися писателю страшными, демоничными или безобразными. Не случайно и в графических портретах своих современников, совершенно отвлеченных от идеи Обезьяньей палаты (Тетрадь с рисунками. 1917—1921), Ремизов стремится к полному остранению реальности, намеренно пренебрегая фактором портретного сходства. Его рисование — естественный результат постоянной работы памяти. Сменив язык художественной речи на язык линий и цвета, Ремизов передает через создаваемый образ особенности своего восприятия, пытается отразить то, что не поддается выражению в слове и помогает адекватному запоминанию.

Он рисовал всю жизнь, пока позволяло зрение, ухудшавшееся год от года. Зачастую рисунок предшествовал тексту произведения, поэтому так естественно появление в творческой лаборатории писателя графического дневника. Графическая линия фиксировала движение мысли, а дополняясь цветом, воспроизводила эмоциональное настроение. Первым таким дневником можно считать альбом «Последний путь из России 1921 5 августа», где в простых, монохромных, скорбных в своем цветном звучании рисунках-фактах изображено поэтапное передвижение Ремизовых из Петербурга через Нарву в Берлин. На этом альбоме есть ремизовская надпись, отрывистыми фразами поясняющая рисунки: «Наш путь за границу 5 VIII 1921 // в скотском вагоне // и карантин в Нарве // на чужой земле из // взвихренной Руси // и навсегда».

Пожалуй, только рисунок для Ремизова мог соответствовать сновидению, в котором нет различий между категориями одновременности и последовательности. Имея убеждение в том, что сон является единственным проводником подсознательной памяти, возвращающей события, лица, чувства прошлого, он приобретал к концу жизни устойчивую привычку зарисовывать свои сновидения. В рисунках такого рода изображены фантомы прошлого и реальных фигур тогдашнего окружения писателя доведено до уровня знака, символа, конкретизировано лишь подписание имени, здесь нередко встречаются имена Блока, Розанова, Шестова, Андрея Белого и других, снова и снова проясняя память о тех, кто остался в России.

Быть может, предчувствуя предназначенное расставание с Петербургом, А. М. Ремизов в 1920 году напишет на книге, подаренной А. Блоку: «Воспоминание о старине допотопной, когда на острове водился слон (Ю. Верховский), пел на Слоновой (Суворовской) Кузмин, посторонь бань егоровских жили мы, были в соседях с Розановым, писал портрет Блока Сомов, Вячеслав гнездили на таврической башне, Судейкин ходил с Сапуновым и что еще вспомню, какие нечистые и чистые пары, какой ковчег, какого голубя, какую ветку, Неву, революцию, Бердяева, Гюнтера, Чулкова, Мережковских».